

Отрывок из «НЕ-МЕМУАРЫ»¹

<http://www.ruthenia.ru/lotman/mem1/Lotmanne-memuary.html>

Ю. М. ЛОТМАН

Идея записать военные рассказы Ю. М. Лотмана принадлежит Заре Григорьевне Минц. Осенью 1988 года Юрий Михайлович неохотно и с большим количеством оговорок согласился начать диктовать свои воспоминания, но за недостатком времени этот замысел постоянно откладывал.

Диктовать «Не-мемуары» он начал только в декабре 1992 года. Работа продолжалась до конца марта с большими перерывами. Частично воспоминания были записаны на диктофон, частично продиктованы автору этих строк. К публикуемому тексту Юрий Михайлович относился как к самой первой «конспективной версии» и с конца февраля начал работать над дополнениями — они внесены в основное повествование в соответствии с несколько условной внутренней хронологией. Тематика дополнений имела случайный характер — это было обращение к традиционным сюжетам его рассказов о войне.

Юрий Михайлович полагал, что, когда подобные сюжеты будут исчерпаны и внесены в основной текст, предстоит еще уточнить фактическую сторону воспоминаний и отредактировать их. Эту работу Юрий Михайлович сделать не успел. В какой-то мере этот пробел был восполнен Лидией Михайловной Лотман и Михаилом Юрьевичем Лотманом.

Е. А. Погосян

.....
Наконец пришла и демобилизация.

По пути я встретился с сыном дворничихи нашего дома. Он попал в плен, но, по счастью, когда фронт развалился, из пленных был призван в армию (это бывало очень редко, как правило, их ссылали сразу в лагерь) и демобилизовался как солдат. Мы приехали в Ленинград глубокой ночью, вагон остановили где-то на запасном пути, нас никто не встречал. Домой я не сообщал точного дня, потому что даты возвращения указать было невозможно, а волновать даром не хотел. Мы остановили первую же машину — это оказалась «скорая помощь». Деньги у нас были, и шофер за небольшую сумму согласился развезти нас, после того, как отвезет больного. Так в середине ночи я приехал домой. Дома все спали — меня не ждали. На другой день я поехал в университет.

Я восстановился в университете и с какой-то жадностью алкоголика принялся за работу. Из университета я бежал в Публичку и сидел там до самого закрытия. Это было совершенно ошутимое чувство счастья. Надо было определять семинар. Общим кумиром студентов был Г. А. Гуковский. Я продемонстрировал самостоятельность и не пошел к Гуковскому, а записался к тогда еще числившемуся среди молодых профессоров и не пользовавшемуся такой популярностью Н. И. Мордовченко. Но у Мордовченко, который занимался Белинским, я взял тему по Карамзину — то есть по теме Гуковского, не думая, что это кого-либо заденет. Но Гуковский, видимо, обиделся.

Ничего не переживал я в жизни увлекательнее, чем эта тогдашняя работа над статьей «Карамзин в “Вестнике Европы”». Мне очень жаль, что работа так и не

¹ Лотман Ю. М. Воспитание души. СПб., 2003. М., 1995. С. 8–51

была полностью напечатана и значительная часть ее потом потерялась. Карамзин декларировал, что «Вестник Европы» будет журналом полностью переводным, публикующим информацию о новейших событиях в Европе. Источники он указывал очень глухо или не указывал их вообще. Я занимался поисками источников. Было совершенно несравнимым ни с чем наслаждением сидеть в пустой комнате Публичной библиотеки, где стояли французские журналы, и рыться в них, пока не начнут выгонять. Скоро обнаружилось, что Карамзин очень неточно указывал свои источники и фактически публиковал не переводы, а очень тенденциозные пересказы, делавшиеся с отчетливой ориентацией па события русской жизни. Например, мне удалось доказать, что Карамзин откликнулся на гибель Радищева, замаскировав этот отклик под перевод с французского.

Эта оставшаяся неопубликованной статья — до сих пор у меня самая любимая.

Целые дни я проводил между полок фонда Публичной библиотеки. А между тем события развивались быстро и очень грозно. Началась кампания по борьбе с космополитизмом. Она подкралась для меня как-то незаметно. Сначала были нападки на Эйхенбаума. Но серьезность их как-то не доходила до моего сознания. Тем более что накануне был университетский юбилей, на котором Эйхенбаум получил орден. После первых статей в газетах, воспринимавшихся мной как нелепица, к которой не стоит серьезно относиться, я повторял себе слова из «Макбета»: «Земля, как и вода, содержит газы, и это были пузыри земли». И мне казалось, что лично ко мне это никакого отношения не имеет и все «пузыри» исчезнут так же, как появились.

Однажды, зайдя к Мордовченко (каждое посещение для меня было событием, и прежде чем звонить в дверь, я долго стоял на лестнице и волновался). я застал его испуганно-встревоженным. Понижая голос, хотя разговор шел в его квартире, он сказал мне, что в Москве арестован еврейский антифашистский комитет. Я совершенно не понял, почему он так взволнован, мало ли кого тогда арестовывали. В дальнейшем события разворачивались очень быстро по заранее подготовленной программе.

А я все бегал в библиотеку и в архив. Когда события непосредственно вошли в университетские стены и начались разгромные заседания и проработки Эйхенбаума, Гуковского, Жирмунского и других профессоров, я долго не мог понять, в чем дело (во время проведения кампании из Пушкинского Дома в университет был прислан для «подкрепления» Бабкин, корректор, ставший профессором).

Подробности разгрома университета и Пушкинского Дома достаточно хорошо изложены в материалах, собранных К. Азадовским и изданных в соавторстве с Б. Ф. Егоровым². Поэтому буду касаться только того, что задевало лично меня.

Пришло время распределения. Проходило оно так: комиссия собиралась в главном здании ночью (начинали работать обычно в двенадцатом часу). До этого мы стояли в коридоре и ожидали. Потом отворялась дверь (в ритуал входило, чтобы зала заседаний была густо накурена, поэтому, когда отворялась

² О низкопоклонстве и космополитизме: 1948–1949 // Звезда. 1989. № 6

дверь, оттуда валил дым как из ада). Там сидели Бердников, Федя Абрамов (до этого он был партийный деятель и громила первый номер, потом — известный писатель³) и весь состав партбюро.

Меня вызвали, я зашел, на меня посмотрели, хотя они меня знали и я их знал как облупленных, и сказали: «Выйдите, обождите, еще рано» (зачем они меня вызвали, я так и не понял). Был проделан обряд, напоминающий когда-то выдуманный Николаем I, когда приговоренных поляков прогоняли сквозь строй в определенном порядке, так что глава восстания проходил последним и до этого должен был видеть, как забивали до смерти всех его соратников. Наша процедура была менее торжественной, но в ней были свои «пригорки и ручейки». Ленинградских девочек из «комнатных» семей без каких-либо возражений направляли в сибирские деревни или на Дальний Восток. На все это я должен был, ожидая свою очередь, смотреть. Наконец, вызвали меня, посмотрели и почему-то заговорили со мной в третьем лице: «Он пусть придет в другой раз». Кончилось дело тем, что через несколько дней меня вызвали к Бердникову и он сообщил, что мне дают возможность открытого распределения. Когда я спросил Бердникова, где моя характеристика, выданная в бригаде при демобилизации⁴, он, посмотрев мне своими ясными глазами в глаза, сказал отчетливо: «Она потерялась». Это была та цена, которую с меня взяли за открытое распределение.

Начался длительный период поисков работы. Протекал он по вполне стереотипному сценарию. Утром я отправлялся в одно из тех мест, где, как накануне я выяснил, есть вакантное место (как правило, это была школа). Директор принимал меня очень ласково, говорил, что место есть, и просил на следующий день принести заявление и заполнить анкету. Как ни странно, еще в пятидесятом году я сохранял то качество, которое, в зависимости от ориентации, можно назвать и наивностью, и глупостью. Смысл заполнения анкеты для меня, весь жизненный опыт которого был связан с войной, был совершенно неясен. Когда мой приятель, веселый циник Димка Молдавский (до войны мы с ним были на одном курсе, но он страдал пороком сердца и на фронт не попал; к этому времени он был уже аспирантом при Наумове и занимался Маяковским) при первой же встрече спросил меня: «Ты кем вернулся?» — я не понял вопроса. «Ну, с каким пятым параграфом, балда?» (Мать Димки была русской, и по паспорту он был записан русским.) После объяснения я решительно возмутился и послал его довольно далеко. Сама постановка вопроса мне казалась дикой.

³ Когда ему нужно было сдавать кандидатский минимум по Радищеву, он меня позвал для консультации. Он поразил меня тем, что при этом все время курил, а окурки приклеивал слюной к стене и все повторял: «Да ты мне лишнего не говори».

⁴ Характеристика была написана дивизионным писарем, который до этого был солдатом в моем взводе и хорошо ко мне относился, командир дивизиона ее подписал, но, конечно, все хвалебные эпитеты принадлежали писарю; получалось, что я чуть ли не единолично победил фашистского зверя в его собственном логове.

Мое образование в этом вопросе завершил А. В. Западов — человек умный, насмешливый и цинический. Когда мы с ним однажды столкнулись на филфаке, я ему пожаловался на то, что места как бы есть, но все время повторяется одна и та же странная процедура: сначала подробная и многообещающая беседа, затем просьба заполнить анкету, предложение зайти через пару дней, а после этого какой-то странный взгляд в сторону и одна и та же формула: «Знаете, к сожалению, это место у нас вчера отняли». Западов посмотрел на меня, как на идиота. Я давно не видел такого изумленного лица. «Не знаете, в чем дело?» — спросил он меня. «Не знаю». — «Знаете, сходите в зоомузей, им нужен человек с филологическим образованием, поговорите». Я отправился туда. Зайдя в кабинет к заместителю директора, толстому пожилому еврею, я сказал, что меня прислал Западов. Человек посмотрел на меня с нескрываемым возмущением: «Зачем он вас прислал? Я же ему объяснял, что у нас уже работают два еврея. Больше я взять не могу». Я повернулся и ушел. Через пару дней я встретился на улице с Западвым. «Поняли?» — «Понял», — сказал я. «Ну что ж, — сказал он, — дурень умом богатеет».

Однако запас послевоенного оптимизма (может быть, глупости?) был во мне настолько велик, что настроение у меня в этот момент было боевое и веселое. Я продолжал писать диссертацию (я написал большую статью о Пнине, которая нигде не была опубликована, хотя, как мне казалось, она имела смысл).

Кроме того, у меня завязались несколько неопределенные отношения с Зарой Григорьевной. Познакомились мы еще в бытность мою на четвертом курсе. Я в эту пору регулярно прирабатывал тем, что писал большие портреты вождей по клеточкам. То, что получалось, только отдаленно напоминало образцы, с которых я срисовывал (особенно вначале). Но это и не требовалось. Заказчики — как правило, это были майоры или полковники, руководившие военными клубами, — следили только за тем, чтобы все ордена были тщательно выписаны, и, убедившись, что по этой части все в порядке, решали, что можно вешать.

Между прочим, искусство писать портреты по клеточкам я освоил еще работая в нашем армейском клубе. Для того, чтобы представить, что такое сходство с военной точки зрения, расскажу следующий эпизод. После конца войны наша бригада стояла в Потсдаме. Желая уклониться от надоевшей до невозможности строевой подготовки и совершенно бессмысленных после окончания войны тренировок в развертывании огневых позиций, я, как уже говорилось, устроился художником в клуб. Моим напарником был мой близкий друг Хачик Галюмсрян — действительно талантливый художник и очень славный парень. С ним мы и освоили искусство рисования портретов по клеточкам.

Однажды нам сообщили, что в клубе будет собрание, на котором выступит кандидат в Верховный Совет от группы оккупационных войск, и что это — Абакумов. Имя это, пугавшее тогда даже самых смелых людей, мне ничего не сказало. В повести Тынянова есть фраза, объясняющая, почему приговоренного к сечению поручика не ведут на эшафот, ставя вместо него пустые козлы: «Преступник секретный, тела не имеет». Абакумов был отчасти секретным начальником. На обязательных по ритуалу плакатах с портретом и биографией кандидатов была какая-то совершенно непонятная мутная клякса. С нее следовало скопировать портрет в три метра высотой. Даже ордена нельзя было

разобрать, но они были перечислены в печатной биографии. Мы разбили эту кляксу на квадратики и нарисовали что-то абсолютно невозможное. По тогдашней простоте нравов в клуб, в котором Абакумов должен был выступить перед избирателями, нас беспрепятственно пропустили на наши обычные места (за мной числилось еще и освещение зала). Когда Абакумов вышел на трибуну, мы с Хачиком переглянулись и чуть не упали. Ничего даже отдаленно похожего на нашу кляксу перед нами не было. Однако, при нашей тогдашней бесшабашности, это нас не испугало, а только рассмешило. Хачик, со своим легким армянским акцентом, который он в комические моменты усиливал, сказал мне: «Ничего, я сейчас подойду к нему и скажу — товарищ Абакумов, дай я тебе сейчас морду на квадратики разобью, — мы живо срисуем».

Однажды ко мне после лекции подошли Зара Григорьевна с Викой Каменской, и Зара Григорьевна предложила мне для приближающейся научной конференции, посвященной Маяковскому, оформить зал, нарисовав, в частности, его портрет. Я экономил все время для научных занятий, которым предавался со страстью алкоголика, тянущегося к бутылке. Участвовать в подобных мероприятиях отнюдь не входило в мои планы. Сильно заикаясь (работая артиллеристом на телефоне, я выработал правильное дыхание и почти не заикался, но оказавшись после демобилизации «на гражданке», я вдруг обнаружил, что в разговоре с девушками или незнакомыми людьми заикаюсь так сильно, как никогда доселе; на заседании кружка я однажды должен был прервать доклад и уйти со сцены), я объяснил Заре Григорьевне, что рисую только за деньги. Ее комсомольский энтузиазм был ошарашен таким цинизмом, и она отошла от меня со слезами на глазах, громко произнеся: «Сволоочь усатая!» Это было наше первое объяснение.

Следующий наш контакт был еще менее удачным. На студенческой научной конференции, посвященной Белинскому, Зара Григорьевна, с присущей ей тогда кавалерийской дерзостью, решила сделать доклад на тему «Белинский и романтизм». Доклад вышел неудачный, практически провалился. Марк Качурин со свойственной ему пронизательностью мягко указал на то, что саму концепцию романтизма докладчица извлекла не из материала, а из распространенных штампов. Столь же принципиально, со всегдашней для него тактичностью, высказался П. И. Мордовченко. Меня же черт понес выступить в качестве защитника, и я, сильно заикаясь, произнес несколько либеральных фраз о том, что, с одной стороны, конечно, так, а с другой стороны, нельзя не оценить... Докладчица мужественно перенесла всю критику. Но моей защиты перенести не могла и убежала в женскую уборную, куда за ней торжественно воспрошествовали все девушки. Конечно, тактичность требовала, чтобы я просто удалился. Но я решил, что моя должность мужчины требует утешить, то есть самое худшее, что я мог придумать. Я дождался, пока Зара Григорьевна и другие дамы покинули убежище, и навязался провожать их до дому. (Эпизод этот мы позже вспоминали как критерий полного идиотизма, он стал одной из наших семейных легенд.)

В дальнейшем отношения наши исправились, и накануне ее госэкзамена я был приглашен как консультант, который должен был за ночь «накачать» Зару, Вику и Люду Лакаеву сведениями по XVIII и XIX векам (они были поклонницами Д. Е. Максимова, занимались Блоком и ничего, кроме Блока, знать не считали достойным, зато Блока знали в совершенстве).

До своей поездки в Тарту я исходил ногами не только огромные пространства Союза, но и пересек Польшу, Германию и Прибалтику. Однако ощущение заграницы для солдата совершенно иное, чем для штатского человека. Как сказал в одном месте Лев Толстой, солдат, даже если он пересечет весь мир, все время находится в одном полковом пространстве: все тот же фельдфебель, все та же батальонная собачка, все те же обязанности и интересы. Даже когда в различных перипетиях, в многочисленных отступлениях и окружениях приходилось иногда оставаться одному и сотни километров следовать в одиночестве в поисках своего полка, образ полка постоянно присутствовал и был как бы тем стеклом, сквозь которое просматривался весь остальной мир: направление, задачи, характер действий — все было предreshено. И если приходилось проявлять большую концентрацию индивидуальной воли, то направлена она была на то, чтобы опять влиться в это пространство.

Теперь создалась принципиально иная обстановка. Необходимо было самому решать свою судьбу. Мы ушли в армию мальчишками, вернулись взрослыми мужчинами. Мы научились ответственности. В определенных стереотипных обстоятельствах мы безошибочно знали, что нам следует делать, чтобы быть честными людьми. Но теперь мы оказались в совершенно других обстоятельствах, для которых у нас не было выработано никаких стереотипов. Мы привыкли быть взрослыми и принимать самые ответственные решения, а вместе с тем мы обладали опытом детей и к стандартным ситуациям были совершенно не готовы. А обстоятельства бросили нас в политическую ситуацию второй половины сороковых годов, категорически требовавшую выбора поведения и индивидуальной ответственности. Одна из особенностей была в том, что когда ледоход времени раскалывал и разносил льдины, то очень часто на разных льдинах оказывались люди, все еще не забывшие совсем недавних фронтовых связей.

Нечто аналогичное отразилось на моих отношениях с Георгием Петровичем Бердниковым. Бердников — однокурсник моей сестры Лиды, Макогоненко и Кукулевича — в студенческие годы находился почти в нищете. Он наверняка не смог бы удержаться на студенческой скамье, если бы не Г. А. Гуковский. Гуковский заметил способного и зажатого нищетой и политическими трудностями студента и по законам, обязательным для старой профессуры, приложил все силы, чтобы помочь ему. Он оказывал Бердникову материальную помощь и помог ему превратить курсовую работу в статью и опубликовать ее в студенческом томе Ученых записок факультета.

На новый сороковой год Лидина группа традиционно собралась в нашей огромной квартире, и я, как это часто бывало, терся среди студентов. Я помню, как, когда часы проббили двенадцать, Бердников поднялся с бокалом в руках⁵ и произнес: «Ребята! Мы же люди сороковых годов! Выпьем за сороковые годы!» И все дружно выпили. Действительно, начались сороковые годы.

После войны, в университете, я снова встретился с Бердниковым. Я восстановился на втором курсе, он — в аспирантуре. Мы оба ходили в гимнастерках, только на его погонах были капитанские звездочки. На войне он служил в штабе пехотного полка, и думаю, что воевал хорошо. Это, а также его

⁵ Бокалы были наши семейные, старинные, но что пили из них — представления не имею, помню только, что шампанского, конечно, не было.

частые бывания у нас дома, его женитьба на Тане Вановской, прелестной, милой девушке, подруге и однокурснице Лиды (к которой я, помню, был неравнодушен), придавали некоторый оттенок нашим отношениям даже тогда, когда он начал свой головокружительный карьерный путь. Могу, стараясь сохранить объективность, сказать, что Бердников был не глуп, жесток только в той мере, в какой это было необходимо ему для карьеры (в этой ситуации он был беспощаден), уничтожал людей по холодному расчету, но без удовольствия, — а это, знаете, очень много. При первой возможности старался хоть чуть-чуть отмыть свои руки. Так, например, сделавшись потом директором театрального института (не имея ровно никакого отношения ни к театру, ни к научному направлению института, но обладая статусом, при котором он мог быть директором не важно уже чего), он постарался вернуть на работу кое-кого из выгнанных в эпоху борьбы с космополитизмом, например Я. С. Билинкиса, и даже прослыл в ленинградских театрально-гуманитарных кругах прогрессистом. На самом деле он был умный, абсолютно беспринципный человек, который ясно понимал, что весь идеологический шабаш продлится недолго и те, кто сейчас так быстро по чужим костям взмывают вверх, так же быстро свалятся вниз. Интуиция его не обманула. Для себя он хотел другой судьбы и добился ее, и сделавши несколько очень крутых поворотов, благополучно дожил свой век.

Передо мной были две возможности: продолжать искать работу в Ленинграде, стучаться в закрытые для меня двери или плюнуть и, сбросив со стола карты, начать какую-то совершенно другую игру. И я выбрал второе. На одном курсе со мной училась милая ленинградская девушка Оля Зайчикова. Отношения наши заключались в том, что мы иногда болтали, встретившись в библиотеке или в коридорах филфака. Ее жених погиб на войне, отношения наши были милые, но довольно далекие. Однажды встретившись с Олей, мы заговорили о наших делах, и она, узнав, что я долго и безуспешно ищу работу, что мне это в высшей мере обрыдло, что я хочу плюнуть и уехать куда-нибудь из Ленинграда (я тогда видел перед собой деревенскую школу и заранее собирал побольше книг, которые можно было увезти), предложила мне позвонить в Тарту, в тот же учительский институт, куда была назначена она и где, как она знала, было незанятое место по русской литературе. Я позвонил директору института Тарнику. Он, выслушав все мои анкетные данные, сказал, что я могу приехать.

Одевшись в слегка перешитый отцовский черный костюм, единственный мой «праздничный», я поехал в Тарту, где остался на всю остальную жизнь.

Незнание языка и обстановки, а также бессовестная глупость, которая сопровождает меня на всем протяжении жизни, помешали мне увидеть трагичность той обстановки, в которую мы попали. Я искренне воспринял ситуацию как идиллию: работа со студентами доставляла огромное удовольствие, хорошая библиотека позволяла энергично продвигать вперед главы диссертации, в основном уже написанной, дружба с кругом молодых литературоведов, в эту пору обитавших в Тарту, — все это создавало у меня ощущение непрерывного счастья. Четыре — шесть часов лекций в день не утомляли, а неожиданно сделанное открытие, что по ходу чтения лекции я способен прийти к принципиально новым идеям и что к концу занятий у меня складывались интересные и неизвестные мне вначале концепции, буквально открывало.

Диссертация была фактически написана еще в студенческие годы и сразу после окончания университета я подал ее на защиту (это, кажется, было воспринято как нахальство, но, честное слово, это была просто наивность).

Оппонентами были П. Н. Берков и А. В. Предтеченский. К моменту защиты кандидатской у меня уже практически была готова докторская. На это время приходятся важные события моей жизни. Я перешел на работу в университет (количество студентов росло, и появилось добавочное вакантное место; ректор Ф. Клемент предложил мне его). И я женился. Зара Григорьевна переехала в Тарту (мне пришлось при этом преодолеть ее отчаянное сопротивление: она не хотела бросать свою школу и собиралась, как я ей ехидно говорил, «строить социализм в одном отдельно взятом классе»).

Оформление наших отношений было совершенно в духе комсомольского максимализма Зары Григорьевны. Мы отправились в загс «оформлять наши отношения». Ни я, ни Зара Григорьевна не рассчитывали, что там придется снять пальто. Но на мне все-таки был «лекционный» костюм (на семейном языке называвшийся «дым и мрак» — левый рукав его был закапан стеарином, потому что по вечерам выключали свет и работать приходилось при свечке). Праздничных платьев у Зары Григорьевны не было вообще (мещанство!). А было нечто, «исполняющее обязанности», перешитое из платья тети Мани — женщины вдвое выше и полнее Зары Григорьевны.

Мы пришли в загс. «Пришли» — это не то слово: я буквально втащил отчаянно сопротивлявшуюся Зару Григорьевну, которая говорила, что, во-первых, она не собирается переезжать в Тарту и бросать своих школьников Волховстроя, во-вторых, что семейная жизнь вообще мещанство (подруга Зары Григорьевны Люда резюмировала эти речи язвительной формулой: «Личное — взад, общественное — вперед!»). В загсе нас ожидал исключительно милый эстонец, занимавший эту должность при всех сменявшихся режимах и, как большинство интеллигентов того возраста и той поры, очень хорошо говоривший по-русски. Прежде всего, он поразил нас решительным ударом, предложив снять пальто. На Зару Григорьевну неожиданно напал приступ смеха (отнюдь не истерического, ей действительно была очень смешна эта «мещанская» процедура). Заведующий загса печально посмотрел на нас и с глубоким пониманием произнес: «Да, в первый раз это действительно смешно!» После этого мы устроили брачный пир, пригласив Шапыгина, работавшего в университете на кафедре доцентом. (В его комнате я провел несколько месяцев, пока не получил небольшое отдельное помещение.)⁶ Он состоял из двух стаканов кофе на каждого и целого блюда булочек со взбитыми сливками — vastlakuklid.

Меня поселили в комнате с «уплотненной» квартире директора продуктового магазина — исключительно милого человека. Эстонец, он был женат на

⁶ Шаныгин был убежденный холостяк. Мы никогда не убрали — пол был по щиколотку засыпан мусором. Он обзванивал знакомых дам, произнося при этом всегда один и тот же текст: «Юленька! (или Танечка, Сашенька и проч.) Я не спал три ночи (он отличался завидным сном и ужасно храпел). Я раскрыл перед собой свою душу и понял: нет-нет, я вас не достоин. Вы — чистая и святая!» После этого в трубке раздавалась либо готовность пасть с вершин святости, либо возвести и его на них. но он продолжал: «Вы не знаете всей меры моей испорченности. Прощайте — навек

латышке и дома разговаривал по-русски. Жена его была настоящая дама, никогда не работала и вела образ жизни самый светский. Квартиру она содержала в идеальном порядке и каждый день вытирала пыль белой тряпкой. Наша комната, заваленная книгами и отнюдь не сверкавшая аккуратностью, вызывала у нее брезгливое отвращение. Но хуже стало, когда у нас родился сын, а затем появилась нянька Степанида²⁰ из-под Пскова, которая немедленно развела таких больших и страшных тараканов, каких я ни до, ни после никогда в жизни не видал.

Перед нами закрыли двери кухни, и нам пришлось готовить уже на четверых, включая грудного младенца, на керосинке в коридоре. При этом Степанида неизменно засыпала, предварительно уничтожив все запасы съестного, а керосинка постепенно начинала коптить. Когда мы прибегали с лекции, войти уже было невозможно. Миша сидел почти как негритенок, Степанида спала⁷, а соседка лежала в обмороке.

Но жили мы очень весело: много работали, много писали и постоянно встречались в небольшом, но очень тесном и очень дружественном кругу. Я полностью перешел в университет, Зара Григорьевна работала в учительском институте.

В это время в Тарту приехал Б. Ф. Егоров. Жену его Соню — химика — ректор Клемент пригласил в Тарту. Борис Федорович учился на пятом курсе авиатехнического института, но на пороге окончания, предвещавшего ему хорошо обеспеченное будущее, что было совсем не пустяками в это время, имел смелость резко переменить направление своей жизни, заочно окончить ЛГУ по кафедре фольклора, прибыть в Тарту аспирантом-фольклористом Герценовского института и, быстро защитив диссертацию, сделаться членом кафедры литературы. Когда Б. В. Правдин ушел на пенсию, Егоров принял кафедру. Он перевел в Тарту на открывшуюся после ареста Адамса вакансию своего друга — молодого, исключительно талантливого Я. С. Билинкиса.

В Тарту сложилась небольшая, но интенсивно работавшая и постоянно обменивавшаяся дискуссиями на теоретические и историко-литературные темы группа. Мы очень часто собирались и часами спорили. Особенно острыми были дискуссии между мной и Билинкисом. Меня, получившего со студенческих лет закалку формалиста, привлекали структурные идеи. Борис Федорович тоже к ним тяготел. Зато со стороны Билинкиса они вызывали резкое неприятие: он называл их дегуманизацией гуманитарных знаний и защищал принципиальный интуитивизм. Исключительно талантливый лектор, он хотел бы и в науку внести вкусовую импровизацию.

В целом мы жили в напряженной и исключительно привлекательной атмосфере, Если же вырывались в Ленинград или в Москву, то только для того, чтобы по уши влезть в архивы.

⁷ По словам родителей, просыпаясь, нянька бросалась на керосинку с неизменной формулой: «Холера — здынулась!» (Примеч. М. Ю. Лотмана.)

* * *

В доме, в котором мы жили (я, Зара Григорьевна и дети), по тогдашней тартуской манере двери никогда не запирались. В Тарту это не было исключением. Войдя с улицы через крошечную прихожую, можно было пройти прямо в самую большую из наших комнат, в которой помещалась столовая, приемная для гостей и мой кабинет.

Утром одного из воскресений, когда я, Зара Григорьевна и дети сидели за завтраком, кто-то энергичными шагами вошел с лестницы и кулаком постучал в дверь. В дверях стоял высокий человек с энергией в лице и фигуре, которая выражала полную готовность вступить в драку. Нас осаждали заочники. Провалившись на экзамене, они часто не уезжали, потому что командировочные им оплачивали только при условии полной успеваемости. Я решил, что это очередной двоечник, который будет сейчас доказывать, что тройку он заслужил. Однако ситуация оказалась иной.

Вошедший представился. Это оказался в ту пору только что прогремевший своей первой повестью «Один день Ивана Денисовича» Солженицын. Не помню, как он представился, но и из слов, и из жестов вытекало, что он приехал бить мне морду. Для того чтобы объяснить ситуацию, придется немножко вернуться назад. В это время наши старшие курсы были достаточно сильными. Зара Григорьевна увлеченно пользовалась несколько расширившимися возможностями вносить в программу новации. Курс советской литературы быстро делался интересным. «Лауреатов» удалось потеснить и за их счет частично ввести эмигрантскую литературу и репрессированных писателей. Все это было совершенно ново. Ни в Ленинграде, ни в Москве ничего подобного не было.

Так, на кафедре образовалась небольшая группа студентов, активно под руководством Зары Григорьевны изучавших творчество Булгакова. Один из них, подававший большие надежды, очень способный молодой человек из местных русских, но с детства алкоголик и kleptomан (что нам было неизвестно), был участником этих занятий. С рекомендацией Зары Григорьевны и моей, он был гостеприимно принят Еленой Сергеевной Булгаковой и допущен к чтению по машинописной копии еще не опубликованного тогда романа «Мастер и Маргарита». Через некоторое время он стал появляться на кафедре с машинописью этого романа (это был не первый экземпляр, но с карандашной авторской правкой). Он заверил, что получил эту рукопись легальным путем от Елены Сергеевны.

Дальше разыгралась совершенно булгаковская история. Елена Сергеевна взволнованно сообщила нам, что экземпляр «Мастера и Маргариты» выкраден, что она крайне тревожится, поскольку ведет переговоры с Симоновым о публикации (переговоры довольно безнадежные и затянувшиеся, но не прекращавшиеся), и что если рукопись ускользнет за границу и там будет опубликована, то это навсегда (тогда казалось, что навсегда) закроет возможность издания ее в СССР. Я поехал к упомянутому студенту домой — он жил на самом краю Тарту в плотном, совершенно купеческом доме, построенном, вероятно, в десятые годы, с богатым фруктовым садом и высоким забором с запиравшейся калиткой. Первое, что мне бросилось в глаза, — на

полках большое количество пропавших у меня книг. Я повел себя несколько театрально, в духе маркиза Позы, о чем сейчас, может быть, стыдно сказать, но из песни слова не выкинешь. Я сделал театральный жест и произнес голосом шиллеровского героя: «Вам нужны эти книги? Я вам их дарю!» (конечно, надо было себя вести проще, но тогда я себя повел так; видимо, именно эта театральность произвела некоторый эффект). После этого я повернулся и опять-таки голосом маркиза Позы сказал, кажется, что-то в таком духе: что если в его душе есть остатки чести, он должен до вечера принести мне рукопись Булгакова, что шарить у него и делать обыск я не собираюсь. После этого я ушел.

Похититель, которого я ждал дома, не появлялся. Ночью (Зара Григорьевна и дети уже спали) я сидел у настольной лампы в темной комнате и ждал. Где-то около двух часов на лестнице раздались шаги. Через незапертую дверь просунулась рука и на стол в прихожей упало письмо (в моем архиве это письмо должно быть). После этого шаги удалились и дверь захлопнулась.

Письмо было совершенно ужасное. Такое письмо могла бы написать смесь Свидригайлова с Мармеладовым. Оно было покаянное, с отвратительными подробностями, с каким-то добавлением юродства, совершенно в духе Достоевского. Письмо сообщало, что рукопись уже отправлена Елене Сергеевне (деталь: бандероль он отправил незаказную, хотя тогда разница в стоимости исчислялась ничтожными копейками, зато незаказные часто терялись).

Эпизод этот закрыл его герою до этого бесспорно ему принадлежавшее место в аспирантуре. По распределению он ушел в пригородную школу недалеко от своего дома, а вскоре спился и умер. Кстати, очень красивый был парень.

И вот эта история получила неожиданное продолжение. Я уже знал от Елены Сергеевны, что вопрос исчерпан (ее задело, что отправлено было простой почтой, а мне, как невольному соучастнику всей этой грязной истории, потом было тяжело с ней встречаться, хотя никаких упреков или обвинений с ее стороны я никогда не слышал). Но оказалось, что Елена Сергеевна некоторое время не знала, что рукопись отправлена к ней. И именно в это «некоторое время» я и услышал в воскресенье энергичный стук в нашу дверь. К счастью, в первых же словах я мог успокоить Солженицына известием, что рукопись уже отправлена Елене Сергеевне и если еще не пришла, то должна прийти сегодня-завтра.

Разговор сразу принял другое направление. Я не помню, о чем мы говорили, но в центре, видимо, был «Один день Ивана Денисовича» и вопрос о возможности устройства в эстонскую обсерваторию или физический институт блестящего астронома NN, который после лагеря хотел эмпирически проверить теоретические расчеты о выделении элементов воздуха (или каких-то газов?) на Луне и о возможности каких-то форм простейшей жизни — он тогда был без работы. Расстались мы уже совершенно спокойно, и в тот же день я зашел к нему в гостиницу и мы довольно долго ходили по Тарту. Позже мы обменялись несколькими письмами. К сожалению, больше встреч у нас не было.

* * *

В конце шестидесятых годов в Тарту часто приезжала Наталья Горбаневская с сыном (он ровесник Леше). Мы с нею уже были знакомы, и мне нравились очень ее стихи, и между нею и нашим домом установились очень близкие отношения. Летом она жила у нас на даче и в Тарту у моей племянницы Наташи. В своем стиле она держалась подчеркнута бесстрашно. Делала на квартире встречи конспиративного характера, хотя конспирацией этого назвать было нельзя — она ее в корне презирала. За нами уже очень следили, она это знала и сознательно этим бравировала.

В результате мы прожили очень бурное и бурно-веселое лето. Осенью Горбаневская принесла мне целую пачку каких-то листов и сдала на хранение. У меня в кабинете была высокая печка: я на нее все и положил. Грешный человек, я до сих пор не знаю, что там было, поскольку в чужих бумагах рыться не люблю. Не помню через сколько недель (Горбаневская уже уехала в Москву) рано утром позвонили, я открыл двери, и в квартиру, не представляясь и не спрашивая разрешения, вошло человек двенадцать⁸. Некоторых из них я знал. Один был муж моей ученицы, известный пьяница, — потом он специально заходил, извинялся передо мной и расписывал, как ему было стыдно принимать участие в обыске. При этом от него пахло водкой, а она, как известно, пробуждает совесть⁹. Но, видно, дело было не только в водке. Некоторое время спустя он ушел из прокуратуры и перешел на гораздо менее престижную должность юрисконсульта.

Вошедшие начали деловито обыскивать квартиру. Их было очень много, и они наполнили все комнаты. Комнат было три. Первую — самую большую — занимала моя библиотека. Библиотека захватила также и вторую комнату, которая была нашей спальней и кабинетом Зары Григорьевны. А третья была детская. Между прочим, в детской на столе лежал свежий продукт романтических игр Алеши, которому было лет десять, и его приятеля, сына рижского профессора Сидякова (он в это время жил у нас постоянно). Юра Сидяков, зачитывавшийся в эту пору рыцарскими романами и Дюма, организовал «Общество физического уничтожения князей зла и врагов рыцарства». Вскоре один из гостей с торжеством принес мне бумагу и препротивным голосом потребовал, чтобы я объяснил, кто организовал общество, кто в него входит и какие цели общество преследует. Кстати, вид бумаги был настолько очевидно детским, а среди гостей все-таки оказались несколько не лишенных элементарной сообразительности людей, что бумагу не включили в протокол и в дальнейшем в деле она не фигурировала.

⁸ Число участников обыска и их грубость несколько преувеличены. Хотя я сам в это не был в Тарту, сужу по свежим рассказам. Формула, с которой они вошли к нам, стала в нашей семье крылатой: «С Новым годом. Юрий Михайлович, с новым счастьем, Вы меня, наверное, не помните: я — К., работник прокуратуры. Вот, пришли к вам с обыском». Дело происходило в начале января 1970 г. (*Примеч. М. Ю. Лотмана.*)

⁹ Есть такая народная черта: негодяй, а как напьется, придет каяться. Так было и с С. — напьется и придет: «Юрка, я — негодяй, я — мерзавец, я — стукач. Но на тебя (на «ты») он обращался ко мне тоже только спьяну) я никогда не стучал». Когда КГБ не смогло на кафедре никого нанять, С. взял на себя эту функцию, и это была с его стороны жертва. Но и кафедре, и лично мне он помогал. Однажды, когда нас очень грызли, он мне сказал: «Решения разогнать не было».

Между тем гости занялись исключительно кропотливым и совершенно неперспективным трудом. Они начали вытаскивать книгу за книгой и листать, что, очевидно, вскоре им надоело. Я чувствовал себя погано, поскольку напряженно ожидал, когда же они доберутся до рукописей Горбаневской.

Что же касается Зары Григорьевны, то она, сидя за столом в этой наполненной неприятными гостями комнате, спокойно читала корректуры. Она была действительно поразительно смелый человек, я за всю жизнь не видел ее испуганной.

Уже темнело. Зара Григорьевна, которая демонстративно, даже гораздо более аккуратно, чем обычно, поддерживала обычную семейную жизнь, дала мне и детям ужин. Кагэбэшники смотрели голодными глазами, как мы посреди их толпы закусываем. Может быть, это сыграло решающую роль в том, что, когда необысканной осталась одна только печка, на которой лежал архив Горбаневской, начальник, пробурчав что-то не очень печатное, что можно передать формулой «ничего нет», предложил мне подписать протокол, что я сделал только после того, как они согласились вписать фразу, что ничего запретного обнаружено не было, и представить полный список изъятых бумаг (изъяты были пишущая машинка и машинописи уже опубликованных статей по семиотике)¹⁰.

Недосмотренные шкафы они запечатали, шкафы простояли в запечатанном виде потом около месяца, после чего зашел господин и, выразившись самой красноречивой лексикой, просто снял печати, так и не открыв тех шкафов. Вообще общее впечатление было, что им это занятие ужасно надоело; ситуация стала типично российской, когда позже зашел муж моей ученицы и извинялся до тех пор, пока не надоел мне, а в конце предложил выпить.

Позже я узнал, что ректору по своим каналам они доложили о совсем не столь благоприятных результатах и даже включили формулу, что при обыске были изъяты документы, имеющие антисоветский характер. Это имело то последствие, что по делу Горбаневской обо мне было вынесено особое постановление, которое не влекло «дела», но и не означало оправдания. Этот хвост за мной тянулся еще очень долго и, в частности, послужил основанием

¹⁰ В действительности, здесь была еще пара сюжетов. Во-первых, кроме бумаг Горбаневской были и свои — «Доктор Живаго». «Четвертая проза», стихи Бродского и проч. (в Москве на это могли бы посмотреть сквозь пальцы, но в провинции считалось большим криминалом). Во время обыска отец спокойно вынул их из разных мест, положил в портфель и ушел «на работу». Во-вторых, кроме Н. Горбаневской у нас — на второй квартире, где после смерти маминой тети жила моя двоюродная сестра Наташа, — часто жила Г. Суперфин и какие-то свои бумаги то ли оставил, то ли забыл там. Обыск проводился на обеих квартирах одновременно, но на второй гэбисты вели себя гораздо более нагло. О тщательности же обыска я сужу по такой детали. Когда я приблизительно через неделю зашел в совершенно разгромленную вторую квартиру, то подобрал первую же попавшуюся бумажку — это была машинописная копия секретного приложения к договору Молотова — Риббентропа (до сих пор храню эту бумагу). (Примеч. М. Ю. Лотмана.)

тому, что длительное время мне не разрешали заграничных поездок даже тогда, когда все эти основания и все эти запреты перестали активно выполнять.

Бумаги я позже сжег, о чем и сказал Горбаневской, но это не вызвало у нее никакого интереса, поскольку и сами эти бумаги никакого особого криминала в нормальной ситуации не представляли. Литература эта называлась запрещенной, и литературу полагалось рассредоточивать по нескольким безопасным точкам у сочувствующих. Я думаю, в ее романтическом подсознании это выглядело так, что она создала такое запасное хранилище литературы.

* * *

Когда мы приехали в Тарту, «Ученые записки» почти не выходили. Единственный филологический номер содержал только одну, чисто вкусовую статью Адамса о Гоголе. Проведенный в 1958 году в Москве первый в СССР конгресс славистов сделался предлогом, благодаря которому мы получили согласие Клемента на издание целого тома. Это был первый выпуск «Трудов по русской и славянской филологии» — так мы назвали новую серию. Одновременно мне удалось пробить выход монографии, посвященной жизни и творчеству А. С. Кайсарова. Этот труд отнял у меня много времени и сил. но вернее сказать — не отнял, а подарил мне очень много действительно счастливых минут. Так начались тартуские издания по славистике.

Издание первого тома «Записок» было мотивировано конгрессом славистики, однако в дальнейшем (и тут следует сказать спасибо ректору Клементу) нам удалось *de facto* завоевать себе право на ежегодное издание целого тома «Трудов по русской и славянской филологии», причем в значительно расширенном объеме. А через некоторое время мы добились разрешения на основание еще одной самостоятельной серии — серии семиотических трудов, которые сделались одним из основных дел нашей — Егорова, Зары Григорьевны и моей — жизни...

Слово «семиотика» почему-то дразнило наших московских оппонентов — нападки на это направление велись с двух сторон: с одной — нас обвиняли в деполитизации науки, а с другой — в ее дегуманизации, причем оппоненты часто соединяли свои фронты и в статьях одних и тех же авторов можно было прочитать, что «тартуская школа дегуманизирует литературоведение и обрекает его на безыдейность», Центрами «гуманизма» были ИМЛИ и советский отдел Пушкинского Дома.

Мы действовали по крыловскому принципу: «полают и отстанут». За всю свою научную деятельность, написав и опубликовав несколько сотен работ, я ни разу не отвечал ни на одну из полемических нападок. Это делалось не из «высокомерия», в чем меня неоднократно обвиняли оппоненты, а из-за того, что всегда приходилось экономить время и бумагу. Зара Григорьевна, Борис Федорович и я договорились о таком принципе: на каждый выпуск смотреть как на последний. Действительно, мы всегда исходили из возможности полного разгрома и ликвидации издания. От этого, с одной стороны, напряженная интенсивность работы, с другой — иногда нарушение стройности композиции;

в статью приходилось вставлять то, что в более спокойных условиях можно было бы превратить в отдельную публикацию.

Научное творчество в эти годы развивалось исключительно быстро, особенно в Москве и Ленинграде. В Москве вокруг Вяч. Вс. Иванова возник целый круг молодых и исключительно талантливых ученых. Это был какой-то взрыв, сопоставимый лишь с такими культурными всплесками, как Ренессанс или XVIII век. Причем эпицентром взрыва была не русская культура, а индология, востоковедение вообще, культура средних веков. Необходимо было научное объединение, но это было нелегко. Тартуский и московский центры шли из разных точек и в значительной мере разными путями. Московский в основном базировался на опыте лингвистических исследований и изучении архаических форм культуры. Более того, если фольклор и такие виды литературы, как детектив, то есть жанры, ориентированные на традицию, на замкнутые языки, считались естественным полигоном семиотики, то возможность применения семиотических методов для сложных незамкнутых систем, типа современного искусства, вообще подвергалась сомнению.

На первой Летней школе на эту тему произошла очень острая дискуссия между мной и И. И. Ревзиным (употребляя слово «острая», я хочу сказать о напряжении в отстаивании научных принципов, которое, однако, не только не препятствовало сразу же сложившимся между нами отношениям чрезвычайной теплоты и уважения, но как бы подразумевало такой фон). Ревзин, гениальный лингвист (я без всяких колебаний употребляю эту оценку), слишком рано умер, именно в тот момент, когда он находился на пороге принципиально новых семиотических идей. Но в первой Летней школе он решительно отстаивал неприложимость семиотических методов к индивидуальному творчеству, ограничивая их пределами фольклора. Идея о неразрывной связи, которая существует между семиотическими методами и замкнуто-традиционными структурами в дальнейшем наиболее последовательно развивалась А. К. Жолковским и Ю. К. Щегловым, обусловив их интерес к детективу как к структуре, в которой законы языка значительно доминировали над текстами. В дальнейшем, правда, и эти исследователи сконцентрировали свое внимание на творчестве Ильфа и Петрова, а затем, еще более расширив текстовое пространство, переместили значительную часть своих интересов в область нарушения правил. Однако вначале их интересы были именно в этой сфере.

Непосредственное столкновение разных школ и, более того, разных ученых, отличавшихся индивидуальными научными особенностями, областями научного опыта, большей или меньшей ориентацией на традицию или личностное искусство, оказалось исключительно плодотворным, и дальнейшее развитие семиотических исследований многим обязано этому счастливому сочетанию.

Включение, начиная с третьей Летней школы, в тартускую группу Б. М. Гаспарова еще более обогатило общее движение, поскольку принцип разнообразия в единстве получил новое и яркое подтверждение.

Я уже сказал, что на каждый новый том и на каждую Летнюю школу мы смотрели как на последнюю. Это не риторическая фигура. Научное движение

совершалось на фоне обстановки, к которой вполне были применимы слова Пастернака:

А в наши дни и воздух пахнет смертью:

Открыть окно — что жилы отворить¹¹.

На этом фоне складывались две культурные ориентации. Одна, представленная Б. М. Гаспаровым, как бы продолжала установку Пастернака — замкнутость, стремление «не открывать окна». Философия «башни из слоновой кости» была для Б. М. Гаспарова принципиальной (что, кстати, резко противоречило его таланту превосходного лектора, любящего и умеющего овладевать аудиторией). Что же касается З. Г. Минц, Б. Ф. Егорова и меня, то мы стали принципиальными «просветителями», стремились «сеять разумное, доброе, вечное».

Змея растет, сбрасывая кожу. Это точное символическое выражение научного прогресса. Для того чтобы остаться верным себе, процесс культурного развития должен вовремя резко перемениться. Старая кожа делается тесной и уже не защищает, а тормозит рост. На протяжении научной жизни мне вместе с тартуской школой приходилось несколько раз сбрасывать старую кожу. Самый близкий пример — это трудности ее теперешнего состояния, когда почти весь состав переменялся, пополнившись новым поколением. А старое поколение заметно сходит со сцены. Как бы ни были грустны отдельные моменты этого процесса, он не только неизбежен, но и необходим. Более того, он был как бы заранее запрограммирован нами. Остается лишь надеяться, что, сбросивши кожу, змея, меняя окраску и увеличиваясь в росте, сохранит единство самой себя.

¹¹ Пастернак Б. Рояль дрожащий пену с губ оближет... // Пастернак Б. Избр.: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 136.